

ЕЩЕ О ГАРШИНЕ И О ДРУГИХ

Я должен вернуться на минуту к г. Гаршину. Он обратил мое внимание на одну ошибку, в которую я впал в прошлом (декабрьском) дневнике, говоря о его рассказе «Ночь». Передавая содержание этого маленького рассказа, я писал, что герой, решившийся на самоубийство, но остановленный на некоторое время напором жизнерадостных чувств, в конце концов, однако, все-таки застрелился. В. М. Гаршин пояснил мне, что я ошибся: Алексей Петрович (герой «Ночи») не застрелился; он умер от бурного прилива нового чувства, физически выразившегося разрывом сердца. Разница, конечно, большая. Я думаю, однако, что не один я ошибался на этот счет, и потому вдвойне спешу поправить свою ошибку. Но постараюсь также несколько оправдаться.

Алексей Петрович, измученный ложью, не только окружающею его со всех сторон, но и в его собственной душе, как он думает, свившею себе прочное пожизненное гнездо, решает покончить с собой и делает все нужные приготовления: достает у приятеля обманном образом револьвер, заряжает его, взводит курок. Перед смертью он оглядывается назад, на свое прошлое, и вспоминает детские годы, когда лжи в его жизни не было. Отчего же не было и чем положительным выражалось это отсутствие лжи? Алексей Петрович добирается до ответа на этот вопрос: была настоящая, подлинная связь с людьми, хоть бы с нищими. И потом опять отрицательные результаты: не было «одиначества в толпе», не сложился еще тот узкий личный мирок, то всепожирающее

и в то же время сиротливое Я, в котором он потом погряз. Но не может ли он и теперь расширить свое личное существование, связать себя с общею жизнью, установить прочные и настоящие, не лживые связи с людьми? Два голоса борются в душе Алексея Петровича. Один говорит, что это не нужно и невозможно, другой обнадеживает и зовет к жизни. Алексей Петрович раздумывает:

Нужно «отвергнуть себя», убить свое я, бросить на дорогу...

— Какая же польза тебе, безумный? — шептал голос.

Но другой, когда-то робкий и неслышный, прогремел ему в ответ:

— Молчи! Какая же польза будет ему, если он растерзает себя?

Алексей Петрович вскочил на ноги и выпрямился во весь рост. Этот довод привел его в восторг. Такого восторга он никогда еще не испытал ни от жизненного успеха, ни от женской любви. Восторг этот родился в сердце, вырвался из него, хлынул горячей, широкой волной, разлился по всем членам, на мгновение согрел и оживил закоченевшее несчастное существо. Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло.

Лампа, выгоревшая в долгую мочь, светила все тусклее и тусклее и, наконец, совсем погасла. Но в комнате уже не было темно; начинался день. Его спокойный серый свет понемногу вливался в комнату и скудно освещал заряженное оружие и письмо с безумными проклятиями, лежавшее на столе, а посреди

комнаты — человеческий труп с мирным и счастливым выражением на бледном лице.

Я сделал полную и точную выписку конца «Ночи»: строка точек имеется и в подлиннике, и в ней-то я и прочел новый психический толчок и затем треск и блеск револьвера, момент выстрела. Правда, серый свет утра освещает «заряженное» оружие, но этот единственный намек на то, что выстрела не было, я, каюсь, просмотрел, как, смею думать, большинство читателей г. Гаршина.

Смею думать также, что ошибка моя несколько не колеблет тех выводов, к которым я пришел относительно писаний г. Гаршина вообще.

Алексей Петрович мог бы сказать о себе, как Фауст: «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust»*. Два голоса явственно полемизируют в нем. Один, не только ласковый и любящий, но и разумный, удостоверяет, что не все потеряно, что возможна новая жизнь, светлая, широкая, не

313

из-под палки какой-нибудь, а свободно сливающаяся с жизнью других людей. Это потому голос, не только любящий, а и разумный, что удостоверяет, что и «пользы», выгоды нет жить так, как жил Алексей Петрович до сих пор. Другой голос, злой и глупый, утверждает, что все это вздор. Это злой голос, потому что, соблазняя человека, он обрекает его на муки, которых тот и без того принял сверх всякой меры; но вместе с тем это и глупый голос, потому что для Алексея Петровича все равно нет возврата на ту дорогу себялюбивого и

* Две души живут в моей груди (нем.)¹. — Ред.

сиротливого существования, которую он пробежал всю, вплоть до ее естественного конца — самоубийства. Победа злого и глупого голоса только и могла выразиться самоубийством, и я прочитал эту победу в строке точек г. Гаршина. Оказывается, что я ошибся, победил голос жизни и любви. Казалось бы, тем лучше. Но какую ценою одержана эта победа? Так сильно охвачен Алексей Петрович порывом жизнерадостного чувства, что не выдерживает и умирает. Значит, в конце концов все-таки смерть, и с известной точки зрения такой финал еще безотраднее простого самоубийства.

Все или почти все произведения г. Гаршина представляют художественный комментарий к великому в своей простоте: «не добро быть человеку одному». Я бы не сказал, что это корень его пессимизма, но это почва, из которой корень берет нужные ему элементы. Не вообще страданиями занят наш автор; с его точки зрения отчего бы и не пострадать, но на людях и с людьми, а не в одиночку. Однако и не буквально одиноких ставит перед нами г. Гаршин. Напротив, его одинокие окружены толпой, и все-таки они одиноки, потому что узы, связывающие их с людьми, насильственны, лживы, и они вполне сознают эту лживость и оттого мучатся. Они ищут выхода, то есть таких форм общения с людьми, которые не налагали бы на них ненавистного ярма, не делали бы их «пальцами от ноги», «клапанами», безвольными орудиями сложного целого, все большему дифференцированию которого так радуются разные спенсеровы дети². В этом процессе дифференцирования, или, что то же, превращения человека в орган, орудие, многие чувствуют себя прекрасно. Их не смущает то униженное положение, в котором они находятся, их не тревожит лживость отношений к «ближним», они не чувствуют своего уродства,

Г. Гаршин представил несколько экземпляров и этой породы «приспособившихся», живущих в полное свое удовольствие для своего «я», но это «я» не человека, а «клапана». Таков Дедов в «Художниках», таков инженер Кудряшев во «Встрече». Но положение других героев г. Гаршина совсем иное. Они понимают, в какую пропасть влечет или уже вовлек их стихийный процесс, но все либо беспомощно бьются в той клетке, в которую их загнала судьба, и в конце концов погибают; либо же, как и Надежда Николаевна (в повести, озаглавленной этим именем), и Алексей Петрович, герой «Ночи», видят исход, рвутся к нему, стоят уже на самом корне новой жизни и счастья и все-таки погибают, хотя и от посторонних причин; одна под выстрелом револьвера, другой от разрыва сердца. Мало того, значит, что люди изнемогают, стоя лицом к лицу с давящею их силою; мало того, что они, бессильно топорщась, все-таки втягиваются зубцами и колесами огромной машины и в ней перемалываются; нет, даже в тех случаях, когда голос крови и разума заглушает собою голос глупый и злой, когда человеческое достоинство готово праздновать победу, посторонние делу обстоятельства точно заговор устраивают, и победы все-таки нет.

Я надеюсь, что г. Гаршин когда-нибудь разрушит эту коалицию стихийного процесса, выражаемого глупыми и злыми голосами, и посторонних делу обстоятельств; что он предъявит нам, наконец, победу истинно человеческого достоинства, хотя бы в возможности, в перспективе. Не потому мне этого хочется, что человеческое достоинство часто торжествует в сей юдоли плача и беззакония, вследствие чего торжество это должно найти себе отражение и в

искусстве. Нет, вообще говоря — это торжество пока слишком редкое, но пусть же эта редкость блеснет в творческой фантазии г. Гаршина, хотя бы только как возможность, и разгонит мрачные тучи безнадежности, заволакивающие его горизонт.

Мы вправе ожидать, от г. Гаршина многого, потому что в том немногом, что он до сих пор написал, он, как говорят немцы, хватает быка за рога, сознательно выбирает центром своих картин и образов действительный центр действительной жизни. От преследующей его скорби об человеке, превращенном в «палец от ноги» или в «клапан», могут быть проведены радиусы решительно во все

315

сферы жизни. И если это необыкновенно выгодное и в то же время смелое положение, занятое г. Гаршиным, осталось до сих пор неоцененным по достоинству, так на это есть две причины. Во-первых, слишком тонкая, я бы сказал, кружевная работа г. Гаршина. Я своевременно читал все, что г. Гаршин печатал, а принимаясь в прошлый раз писать об нем, все вновь перечитал с особенною, специальною тщательностью и, однако, впал в вышеприведенную ошибку, потому что просмотрел буквально *одно* слово. Что же мудреного, если читатели, не обязанные читать с такою специальною внимательностью, чувствуют себя охваченными чем-то необыкновенно симпатично-скорбным, но не могут разобраться в произведениях г. Гаршина как следует.

Другая причина некоторой неясности положения г. Гаршина в литературе заключается в обширности руководящей им идеи. Не в том только дело, что он сознательно приложил ее к таким разнообразным и, по-

видимому, трудно суммируемым общественным положениям, каковы положения солдата, художника, публичной женщины и проч. Нет, так неотступно преследующий его вопрос — кто победит: человеческое достоинство или стихийный процесс, превращающий человека в клапан, — это всем вопросам вопрос. Все наши маленькие житейские драмы, а пожалуй, и водевили, все крупнейшие исторические события укладываются в рамки этого огромного и рокового вопроса. Но именно потому, что этот вопрос до такой степени всеобъемлющ, он, будучи заключен в абстрактную формулу, кажется чем-то холодным и далеким: пролившиеся из-за него в течение веков и теперь льющиеся на севере, юге, востоке и западе слезы и кровь абстрагируются, совлекаются, и в сфере мысли остается только своего рода «красный цветок», который, помните, тоже впитал в себя всю скорбь человечества. Но «красный цветок» — яркий бред безумца, а перед нами краткая, ясная, сухая формула. Воплощаясь в жизни, наряжаясь в разнообразнейшие сложные одежды, отражаясь в близких нам житейских делах и делишках, она бывает подчас трудно узнаваема. И вот почему, между прочим, г. Гаршин редко причисляется к беллетристике с резко определенной тенденцией, к «направленцам», как выразился недавно некто, не имеющий царя в голове. С другой стороны, однако, старательные классификаторы

не относят г. Гаршина и к представителям чистого искусства, которые *singen wie der Vogel singt*^{*}, кто

^{*} поют, как поет птица (нем.)³. — Ред.

соловьём, а кто сорокой, кого каким бог голосом наделил. Ещё бы!

Я очень благодарен г. Гаршину за то, что, указав мне мою ошибку, он дал вместе с тем повод написать эти слова, хотя я все равно написал бы их по другому поводу. Я отнюдь не хочу преувеличивать значение г. Гаршина — перед ним все еще впереди. Я говорю лишь о величии и обширности идеи, на которую намекал в первой же тетради этого дневника, говоря о жалкой породе спенсеровых детей. Если моему скромному дневнику суждено будет продолжаться, мы увидим, что к этой идее в конце концов, как к высшей инстанции, сводятся все занимающие нас житейские вопросы...